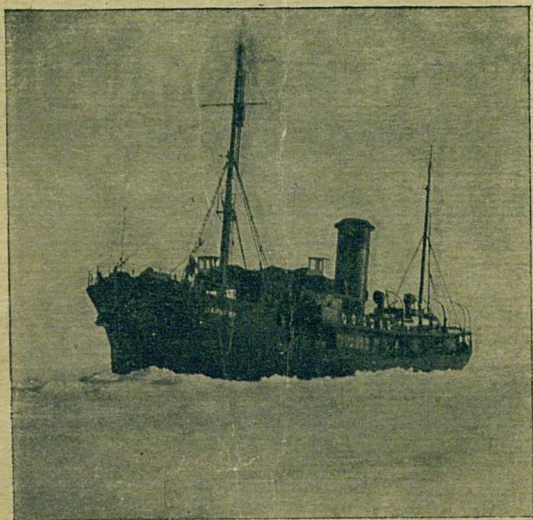


# А. ГАРРИ ЛЬДЫ и ЛЮДИ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

**№ 403**

АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“

МОСКВА—1928

# ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОЛОВОНОГИЙ ЧЕЛОВЕК



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“  
№ 375  
Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“  
МОСКВА-1928

# ЛЕОНИД ГРОССМАН ВОКРУГ ПУШКИНА



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“  
№ 386  
Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“  
МОСКВА-1930

# ОСКАР УАЙЛЬД

БАЛЛАДА  
РИДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ



БИБЛИОТЕКА  
„ОГОНЕК“  
№ 385  
Акц. Изд. О-во  
„ОГОНЕК“  
МОСКВА-1929

# ОНОРЕ БАЛЬЗАК

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“  
№ 382  
Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“  
МОСКВА-1929

79/403 а

А. ГАРРИ

49/4792

2144

# ЛБДЫ и ЛЮДИ

Г. П. Б. в ЛДГР.  
ОБЯЗ. ЭКЗ.  
1928.

Г. П. Б.

Б. 1928. М

№ 19551

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“  
Москва — 1928



ТИПО - ЛИТОГРАФИЯ,  
ОФСЕТ - ПЕЧАТНЯ

Акц. Изд. О-ва

„ОГОНЕК“

МОСКВА, Последний

пер., д. 26.

Главлит № А. 21.127

Тираж 28.000.



## ВСТРЕЧА С ВРАГОМ

У входа в Мурманскую гавань стоял большой английский пароход. Он был почему-то ярко-красного цвета весь, от верхней палубы до ватерлинии, и это как-то не вязалось с английской надписью на корме и морским торговым флагом Соединенного королевства. Судно было очень большое и исключительно грязное: видно, только-что закончилась отгрузка угля. На спардеке, лицом к воде, сидел юнга в одних кальсонах и чинил брюки. На пароходе не было ни души, и никто не ответил нам на приветственные гудки.

А вечером в ресторане при гостинице «Желрыба» я познакомился с боцманом Скью. В большом зале густыми облаками висел табачный дым и стоял тот особенный гул, напоминающий шум морского прибоя, который во всех странах мира от Северного полюса и до Огненной Земли бывает только в матросских кабаках.

Боцман Скью был пьян. Его остроносое, кирпичного цвета лицо, изборожденное ветрами пяти океанов, имело то особенно беспомощное и бессмысленное выражение, которое дает алкоголь в последних стадиях опьянения. Во всей зале вообще не было ни одного трезвого

человека,—даже официанты качались с подносами в руках, как вахтенные на палубе во время шторма. В северных портах, как, впрочем, и в южных, пьют как-то особенно: упорно и в то же время по-детски. Так молятся сектанты.

Я видел в Архангельске двух пьяных мальчиков лет десяти: они шли обнявшись по набережной и орали похабные песни. А внизу на катере стоял кто-то, не знаю—отец или брат,—выбирая из трюма какую-то снасть и время от времени монотонно, скорее от безделья, чем по обязанности, кричал пьяным мальчикам вслед одну и ту же фразу:

— Все равно—выпорю!

Мы с боцманом Скъю пили отвратительную смесь из коньяка с пивом. Сказал ему, что я летчик. Испытующим взглядом с ног до головы он осмотрел мой кожаный костюм и шлем с полярными очками. Поверил и холодно-учтиво пробормотал несколько слов пожелания благополучного исхода экспедиции помощи Нобиле. Это, видимо, стоило ему больших усилий—оставаться вежливым английским джентльменом и строго соблюсти международные правила морской этики. Но в глазах его дрожала ненависть.

Изумительные глаза. Маленькие и выцветшие, настоящие свиные, без ресниц, спрятанные в глубоких впадинах истрескавшихся морщин. Очень много было в них трезвой злобы врага и бессмысленной ненависти пьяницы.

На английской территории английскому человеку в такие глаза, вероятно, совсем нехорошо смотреть.

Боцман Скъю высокий и сутулый. Ему, должно быть, под пятьдесят; во всяком случае, плавает он уже двадцать восемь лет. На нем высокие норвежские сапоги, замшевые брюки и серая фуфайка. В советских портах он бывал раз двадцать. Раньше плавал в Южную Америку и под тропиками.

Мы говорили, конечно, о политике. Боцман Скъю очень любит политику. Так он мне сказал сам. На дворе, за окном, стоит совершенно изумительная, ни с чем не сравнимая, полярная ночь, светлая, как день. И мой собеседник, который, должно быть, не понимает никакой красоты, время от времени поглядывает в окно с явным неодобрением.

— Русскому народу нужен кнут,—говорит Скъю,—не все ли равно, кто его держит: царь или коммунисты? Вы сами ищете этот кнут, вам нужен хозяин, и в поисках этого хозяина вы сделали революцию. Царь был плохим хозяином, и вы его за это прогнали. Скоро вы прогоните и коммунистов, если они не поумнеют.

Пьяный официант убирает пустые бутылки и ставит новые. Боцман Скъю долго прокуривает черную от копоти трубку, которая, наверное, тоже плавает двадцать восемь лет. Огонь он бережно несет в согнутых лодочкой ладонях, так, как будто бы дул сильный ветер. Потом откидывается на спинку стула и плюет через соседний столик прямо на пол. Ему стесняться нечего: он же—культурный англичанин в гостях у варваров.

— Вы не умеете пользоваться уборными, — говорит Скъю,—и хотите перевернуть мир. Вы—воры и пьяницы, а нападаете на религию. Никто не верит в бога, я



тоже не верю, но религия—это в роде закона. Она держит нас на поводу и делает наших детей честными людьми. Русские невежественны и безграмотны, а берутся учить других. Русские матросы—пьяницы и хулиганы.

Боцман Скъю клюет носом. В левом углу губ у него появляется слюна, а, может быть, пена злобы. Я боюсь, что он заснет, и начинаю ему возражать.

— Мистер Скъю, ведь вы тоже пьете. Вы сейчас, например, выпили, наверное, не мало. Смотрите, у вас дрожит рука, вы еле поднимаете стакан.

Английский боцман не так пьян, как кажется. Его морщинистое лицо искажается гримасой. Медленно поднимаются тонкие злые губы. Мистер Скъю улыбается. У него совершенно белые, молодые зубы. Мистер Скъю смеется надо мной, некультурным русским человеком.

— Можно пить—и пить,—говорит он,—на море нельзя быть трезвенником. Я пью уже больше тридцати лет, и двадцать лет пью иод. Я выпил сейчас больше, чем вы когда-нибудь выпьете в жизни, даже если будете жить сто лет. Но у меня в банке лежит восемь тысяч фунтов стерлингов; у меня в Ярмуте двухэтажный дом, который я отдаю в наем грузчикам; на меня дома, в Англии, работают уже две рыбацких шхуны, мои деньги уже приносят деньги, а у вас ничего нет и не будет, потому что вы не умеете жить по-человечески. Мой старший сын—красный. Он пьяница и лодырь, а потому занимается революцией. Я ему не оставляю ни копейки. Пусть он сдохнет. Все бездельники, которые сами не умеют работать, а только завидуют другим,

сейчас занимаются революцией. Поэтому-то повсюду так много красных.

Боцман Скъю будет плавать до тех пор, пока не скопит десяти тысяч фунтов стерлингов. Потом он сядет в своем двух'этажном доме в Ярмуте, и деньги его будут делать деньги. Потом он умрет, когда иод уже не сможет помочь его сердцу. Его старший сын, красный, не получит ни копейки. Пусть он сдохнет. Младший сын учится сейчас в мореходном училище и будет штурманом. Но денег он тоже не получит. Деньги будут лежать в банке, а штурман будет получать только проценты. Все это можно устроить с нотариусом. Боцман Скъю не для того плавал двадцать восемь лет, чтобы кто-нибудь веселился потом на его денежки.

Лицо боцмана Скъю искажено совершенно нечеловеческой ненавистью. Вот оно, его настоящее лицо. Он говорит об английских коммунистах. В дни всеобщей забастовки он сам, за тройную плату, конечно, работал в доках простым грузчиком, лишь бы поддержать порядок. Он ведь активный член союза моряков старика Хавелока. Во время парламентских выборов он всегда голосует за консерваторов. За кого же еще можно голосовать?

Либералы? Мир в промышленности? Ерунда, пустые разговоры! Никто в это не верит. Разве можно ходить на белого медведя с простым перочинным ножиком? Рабочая партия и трэд-юнионы нужны для того, чтобы рабочие не стали окончательно красными! Ему, боцману Скъю, который плавает двадцать восемь лет, рабочая

партия ничего нового уже не может рассказать. Он все знает сам.

Джойнсон Хикс—шляпа. Разве так нужно работать? Русских коммунистов из Англии нужно было выгнать давно,—вернее, их совсем не нужно было туда пускать. А с красными расправиться легко. Вовсе не нужно их выбрасывать с работы. Зачем увеличивать число бездельников. Набить ими тюрьмы, ввести для коммунистов телесные наказания.

Теперь я вижу, что Скъю пьян. Трезвый он не решился бы так говорить, конечно. Мы выходим на улицу. Попрежнему совершенно светло. Где-то нестерпимо визжит землечерпалка. Рывками дует ветер и приносит с собой свежий запах океана.

Навстречу нам с песнями и шутками идут комсомольцы и комсомолки. Непостижимо, с какого собрания можно возвращаться в два часа утра, но, повидомому, это так. Первые абсолютно трезвые люди, которых я встретил в Мурманске. И последние.

Боцман Скъю прислонился к перевернутой лодке и смотрит на молодежь исподлобья. Он надел бушлат и надвинул кепку на глаза. Сейчас у него вид обыкновенного пьяного забулдыги-матроса. Враг спрятался. И когда я наклоняюсь к нему, чтобы попрощаться, я совершенно явственно слышу брошенные сквозь зубы слова:

— Голодранцы паршивые!

— Мистер Скъю,—говорю я ему на прощанье,—вы заблуждаетесь, вас ослепляет ненависть. Эти голодранцы перевернут мир. Они заберут ваши стерлинги и на



них построят новое общество, в котором не будет ни пьяниц, ни бездельников. Вашему старшему сыну наплевать на ваше наследство: он во сто раз богаче вас. Он—человек будущего, а вы—только тень.

Боцман Скъю не хочет ссориться со мною на прощанье. Он делает неопределенный жест рукой и говорит:

— Может быть, вы и правы, сэр. Не знаю. Во всяком случае, если это случится, то меня уже не будет в живых. Простите меня, если я вас обидел.

Он идет, пошатываясь, к берегу. Ветер рванул его бушлат. Боцман Скъю запахнулся и крепко прижал руку к груди. Так он будет держать и свои восемь тысяч фунтов, пока их у него не отнимут.

---

## ШТОРМ У НАДЕЖДЫ

Полтора месяца над «Малыгиным» не заходило солнце. Я видел изумительные полярные ночи, светлые, как день, красота их несравнима ни с чем. Люди теряют счет часам, дням, неделям. Те, которые любят смотреть на сияющий полярный снег без специальных очков, жестоко платятся за свое любопытство снежной слепотой. Они лежат потом несколько дней, недели, с перевязанными глазами, ослепшие, больные. Безнаказанно наблюдать полярное сияние может только человек, родившийся в этих местах.

За несколько часов до того, как войти в кромку льда, первый штурман показал нам ледовое небо. На горизонте, над самой водой, виднелась ослепительно белая полоса на небе, отражение снежного сияния. Вскоре стали попадаться отдельные льдины. Они кружились вблизи «Малыгина» и уходили под воду, увлекаемые водоворотом. Льдины были грязно-серые, талые, и казалось, что кто-то только что нарочно сбросил их в воду с крыши московского дома. Потом пошел лед мелко битый. Его медленно колыхало зыбью. Отдельные льдины со скрипом ударялись о борт судна и спать было невозможно. Мы подходили к кромке льда. Начальник экспе-

диции проф. Визе вызвал наверх всех журналистов и показал нам первого белого медведя. Убивать его, однако, нельзя было: это—плохая примета.

Моряки вообще не изжили еще суеверий и предрасудков. Когда мы уходили из Архангельска, часть команды роптала из-за того, что отвал назначен на 13-е число. Точно так же отнюдь нельзя бить первого медведя—это не к добру.

Медведь бежал по льду рядом с судном. Был он зеленовато-желтый, как жирное пятно на чистой скатерти. Время от времени он останавливался, садился на задние лапы и глядел на нас с любопытством. Потом опять пускался бежать вприпрыжку, и казалось, что он ставит себе срочную и важную задачу—во что бы то ни стало перегнать судно.

Потом пошли большие льды. Они двигались сплошными полями во много миль, совершенно гладкие, ослепительно белые и спокойные.

«Малыгин» едва вздрагивал от сопротивления льда и свободно колол его носом, как саблей. Мы стали двигаться все медленнее и медленнее. Иногда приходилось давать задний ход, брать разбег и бить лед с наскока. В таких случаях ледокол становился на дыбы, половина судна взметалась на воздух. «Малыгин» ложился на лед и давил его своей тяжестью. Для того, чтобы плавать во льдах, нужно уметь дерзать. На вахте стоял второй штурман, Александр Петрович, человек дерзания, с душой большого мореплавателя и ухваткой обыкновенного русского матроса, который умеет незаметно для себя и для других делать историю. Александр Петрович



плавает 25 лет, и, вероятно, лет десять во льдах. Он считается лучшим ледовым штурманом в северных портах. Когда он стоит на вахте, мы идем вдвое скорее. «Малыгин» трещит и стонет. В кают-компании кресло капитана путешествует по полу взад и вперед. Люди падают с коек; все, что своевременно не привязано, шатается и летит на палубу. Но лед колетса, как сахар.

Бывают отдельные ледяные перемычки, которые приходится бить двадцать пять раз под ряд. В таких случаях на мостик вылезает капитан, весь закутанный в меха и брезенты, чудовищно большой и тяжелый, похожий на чудо-юдо рыбу-кит из оперы «Садко» в провинциальной постановке. Не держась за перила, он поднимается по трапу, и кажется, под ним качается капитанский мостик.

— Вачман,—говорит он, с изумительной небрежностью коверкая английский термин «уочмен»—вахтенный начальник. — Вачман, — повторяет он, — бросьте это дело, это грязное дело, вы мне так судно поломаете.

Небритая щетина его трясется от негодования. Капитан подходит к компасу и долго, как бы с недоумением рассматривает его:

— Сколько вы били, Петрович?—спрашивает он.—Лежим на курсе и уперлись в перемычку. А в перемычке этой двадцать пять сажен. Давайте—ударим еще раз.

Потом капитан идет в угол мостика, становится возле ящика с биноклями, и мы начинаем вновь бить лед.

В английской лоции, в мореходном описании, про остров Надежды известно лишь то, что он расположен

не там, где обозначен на карте. Потом также сказано, что на этот остров не ступала нога человека. И в заключение говорится, что судам с осадкой выше пятнадцати футов категорически воспрещается подходить к нему ближе, чем на десять миль.

Я прочел английскую лоцию, написанную старым умным адмиралом, когда мы находились на «Малыгине», имеющем 21 фут осадки, на расстоянии двух миль от острова Надежды. Льды, всегда презрительно-спокойные, на этот раз изменили свое настроение. В воздухе стоял треск, во много раз превосходящий шум комбинированной ружейной и орудийной перестрелки. Начиналось сжатие. Ветер крепчал. Льды с оглушительным треском налетали друг на друга, ломались, крошились. Когда отдергивало туман, остров Надежды являлся нам во всей своей девственной красоте—строго очерченная гряда черных скал и ослепительно голубые ледники.

«Малыгина» чересчур скоро несло на рифы. Старый английский адмирал все-таки, повидимому, был прав. Много позже, когда я прочел радио шведского летчика Лундборга, адресованное его королю, я понял, что льды имеют некоторое свойство, ускользающее от внимания московского журналиста. Летчик Лундборг телеграфировал:

«В этих широтах при этом льде работать невозможно. Здесь могут летать только русские или сумасшедшие».

Летчик Лундборг все-таки взял на борт генерала Нобиле с его белой собачкой, которая второй раз увидела полярные льды. Больше летать он не захотел. Когда жестокий ледовый шторм нес нас на скалы острова

Надежды, летчик Бабушкин отсутствовал третий день. И хотя в шлюпки на «Малыгине» уже укладывали пресную воду и продукты, а радисты обдумывали технику спасения хотя бы одного передатчика, мы не могли не думать о том, как три полуголодных и измученных человека где-то далеко, в тумане и льдах, пытаются отнять у шторма маленькую дур-алюминиевую птицу—свое единственное спасение.

Некоторые, однако, судили иначе. Когда Бабушкин через два дня взошел по мосткам на борт и, не сгибаясь от пяти бессонных суток, поднялся на капитанский мостик, спросив лишь: «Ну, как, все целы, ребятки?»—губернатор Шпицбергена, очень отзывчивый человек, телеграфировал норвежскому правительству:

«Летчик Бабушкин, возвратившись после пятидневного отсутствия на ледокол «Малыгин», застал всех живыми и здоровыми».

Губернатор Шпицбергена верил в то, что шторм не сломает Бабушкина и, кроме того, он верил в английскую лоцию и считал, что невозможно плавать там, где плавать невозможно.

Бабушкин привез с собою самолет со сломанной лыжей, ведро медвежьего мяса и ворох разбитых иллюзий. Впервые с полной очевидностью мы ощутили разницу между семьдесят седьмой параллелью и московским аэродромом. Но все это было потом, а раньше было вот что.

Льды закрутили «Малыгина» волчком. Ледокол ложился на бок, вставал на дыбы и снова ложился. Как в кинематографе, туман то показывал нам ослепительные вершины острова Надежды, то прятал их от нас. Все



было, как в сказке. Бывали долгие минуты, когда мы не знали, куда нас несет: на смерть или от смерти. В самый страшный миг, когда капитан велел отдать штур-тросы, т.-е. освободить руль для того, чтобы его не сломало, из радиорубки показался телеграфист. Нельзя сказать, что он шел к капитанскому мостику,—он полз. Ежесекундно его бросало от фальшборта к стенкам рубки. Он падал, катился назад и снова полз вперед, держа в руках белую, согнутую вчетверо бумажку. По инструкции Совторгфлота, он обязан был вручить телеграмму немедленно, если она срочная. Шторм его не касался,—он исполнял какой-то пункт инструкции, кажется, 27-й.

На его пути возникло неожиданное препятствие. Из рубки, выдавив дверь без всякой посторонней помощи, вылетел на спардек штатив кинооператора Валентя. Штатив катался по палубе, сверкая острыми металлическими наконечниками своих ножек. Поймать его было невозможно, потому что кто же согласился бы попасть на острие копья, которым руководит стихия! Штатив надел на себя радиста, как кусок шашлыка на вилку. Оба едва не свалились за борт. Но радист победил, и штатив был сложен и водворен в рубку.

Как раз в эту минуту «Малыгин» лег на бок, и с правого борта густым пластом полез битый лед. Радист снова упал, в последний раз, но все же вручил адресату срочную телеграмму. Радио предназначалось для корреспондента одной из московских газет, Островского. И в этом радио было сказано буквально следующее:

«В связи с окончанием вашего отпуска немедленно возвращайтесь в распоряжение редакции». И подпись.

Момент был очень серьезный. За все время месячного плавания во льдах «Малыгин» никогда не был так близок к тому, чтобы из спасителя превратиться в спасаемого, но мы все смеялись, как дети. В строгой телеграмме редакции, автор которой, повидимому, руководился соответствующим пунктом коллективного договора, было совершенно неограниченное количество неподдельного юмора. Во всяком случае, капитан Чертков хохотал неимоверно.

Ледовый инторм трепал нас сутки. Потом ветер стал стихать, но движение льдов не прекратилось. Туман рассосало совсем. Остров Надежды был рядом с нами, мы почти обогнули его кругом, и трудно было даже обвинять его в чем-либо, настолько презрительно величавы были его ослепительные вершины. Рифы были где-то тут, совсем близко. Английская карта, которая знает об острове Надежды лишь то, что он обозначен там, где не находится на самом деле, об этих рифах нам ничего не могла сказать.

Я долго недоумевал, глядя на остров Надежды, какие мысли руководили мрачным юмором человека, назвавшего так это зловещее место. Впоследствии старая книжка о полярных путешествиях раз'яснила мои сомнения. Остров по-настоящему называется так: «Оставьте всякую надежду». «Надежда» просто, это—для сокращения.

И была еще одна незабываемая минута. Прямо перед нами, там, куда нас влек дрейф льдов, появились два гигантских айсберга—два обломка сползающих в море

глетчеров. Айсберги крепко сидели на мели. Они были страшно голубые и так светились, как будто бы солнце пронизывало их насквозь. Один из таких айсбергов когда-то в туманную ночь у берегов Нью-Фаундленда пустил ко дну океанский пароход «Титаник».

Капитан Чертков стоял на мостике скрестив руки на груди. Руль был освобожден, машины—в готовности, но не работали, льды были сильнее ледокола и управлять им было невозможно. Потом случилось так, как часто бывает в американских трюковых фильмах: на рельсах сидит девушка и на нее мчится курьерский поезд. Поезд проносится мимо зрителя, а потом девушка медленно поднимается с земли: она невредима.

Нас пронесло между двумя айсбергами, как в американской трюковой фильме. У правого фальшборта стоял кинооператор Валентэй и бешено крутил ручку. Рядом со мною писатель Александр Яковлев, не отрываясь, жадно глядел на голубой лед айсберга и время от времени шептал:

— Господи, какая красота!

Когда эта красота, наконец, осталась позади нас, капитан крикнул что-то в рупор, и винт снова заработал после перерыва во много часов. Мы вошли в полосу льдов, где можно было кое-как плавать. Потом нас прижало к большому ледяному полю. На острове Надежды невооруженным глазом видны были птицы.

А на рассвете прилетел Бабушкин. Когда раздался шум пропеллера, ему на снегу постелили красный кумачевый сигнал, указывающий направление ветра. Но летчик Бабушкин вез с собою двух живых людей, которые



боролись со смертью пять суток, он управлял аппаратом, который вверило ему государство для спасения экипажа Нобиле. Он не поверил нам, людям, находящимся на земле,—«юнкерс» сделал пять больших кругов в воздухе над островом Надежды и над «Малыгиным». Потом Бабушкин сел не там, где был положен сигнал, а много правее: там было лучше.

Спотыкаясь в проталинах, обгоняя друг друга и крича что-то несвязное, мы все бросились ему навстречу.

---

## МАГНИТНАЯ БУРЯ

В полночь над нашими головами, выше кают-компаний, в бывшей рубке, отведенной под библиотеку и ленинский уголок,—ныне радиорубке,—начинал гудеть мотор коротковолновой станции. Это значит, что заведующий станцией Плевако вызывает Москву.

Если дело происходит где-нибудь в районе 80-й параллели, то просто как-то трудно себе представить, что где-то там, за тысячи километров, в дачной местности Тарасовке, под Москвой, в спокойной и мирной обстановке кто-то принимает наши позывные сигналы. Я хорошо знаю приемную радиостанцию в Тарасовке. Обычно летом свободные от работы ребята бродят где-то недалеко от станции в темноте с девушками, играют на гитаре и поют песни. А у нас—шторм, непогода. Сам Плевако сидит в полушубке, окно радиорубки разбито, в него врывается ветер и снег.

А люди, которые с нами разговаривают там, в далекой Москве, ходят в белых косоворотках, им жарко, ворот косоворотки расстегнут, и эти люди днем едят мороженое.

У нас, на «Малыгине», три радиостанции. Одна судовая длинноволновая и две коротковолновые. Не нужно

быть специалистом этого дела, чтобы совершенно определенно сказать, что три станции для одного «Малыгина», это—слишком много. Во всяком случае, как только судовая длинноволновая станция начинает работать, не предупредив своих коллег, у Плевако и Кожевникова сначала горят провода, потом перегорают лампочки, потом вообще все начинает трещать и дымиться.

В таких случаях с нижней палубы, как всегда довольно спокойно, поднимается боцман Головин. Он держит в руках свисток и, внимательно внюхиваясь в воздух, пахнувший горелой резиной, спрашивает вахтенного начальника очень меланхолически:

— Что, свистеть пожарную тревогу, или просто всех радистов вместе с аппаратами за борт выкинуть?

Пожарной тревоги свистеть не приходится, радисты остаются на месте, а сам боцман Головин, часа три-четыре повозившись за перемоткой радиомоторов, весь в саже и масле, уже слушает какой-нибудь фокстрот с острова Кубы, зажмурив глаза от удовольствия.

Краса и гордость нижегородских коротковолновиков-любителей — Кожевников с любовью художника наблюдает за этой картиной. Боцман Головин, который три часа тому назад хотел выкинуть все радио за борт, скорчил гримасу, которая должна изображать, повидимому, высшую степень блаженства, крепко уцепился в наушники и изредка в такт музыке, под которую танцуют где-то на далекой Кубе, покачивает головой и прищелкивает языком.

На «Малыгине» было слишком много радио. Хорошо еще, когда они портились поочередно, но часто это



с ними случалось одновременно. Тогда мы не видели наших радистов в течение суток, они не выходили ни обедать, ни ужинать. На спардеке, возле радиорубки, перепачканные с ног до головы и изнемогающие от усталости, они молча возились над ремонтом своих установок. Кругом стояли матросы, и никто не смеялся над тем, что радио замолчало. Матрос рад всегда посмеяться над тем, что ему непонятно, он с удовольствием поиздевается над радиоприемником, если он находится в действии; но если радио разобрано, так это уже вполне понятно, это работа, у товарищей испортилась машина, которая поручена их наблюдению, товарищу нужно помочь.

Судовая радиостанция работает почти целый день. Радисты сплошь и рядом несут суточную вахту. Капитан Чертков купил им в Гамбурге бесподобный немецкий будильник,—такие будильники, должно быть, делают только в Германии—стране порядка. Каждый раз, когда происходит смена суточной вахты радиста, будильник начинает звонить, и все на ледоколе вскакивают, как встрепанные. Радист дежурил сутки, потом он был на авральной работе, потом он чинил радио на самолете, потом ходил в лыжную разведку. В общем спал он всего четыре часа за двое суток. Будильник звонит, но радист не просыпается. Вахтенный матрос с остервенением стучит кулаком в дверь его каюты и кричит полусуто, полусердито:

— Эй, проснись, чорт! Заткни будильник, а то все судно переполошил.

Немецкий мастер, который этот будильник выдумал, предназначал его для гораздо более спокойной работы. Организм русского человека плохо воспринимает выдумки немецкой техники. Я слышал однажды, как будильник звонил на все судно целых полчаса над ухом спящего, но проснулся он только от крепкого товарищеского стука в бок и нескольких уже подлинно русских выражений, которые одинаково и убедительно звучат в любых широтах.

\* \* \*

Из всех трех наших станций непосредственно с московской работает только Плевако. При его посредстве начальник экспедиции проф. Визе может в течение десяти минут получить ответ на вопрос, посланный общественному комитету помощи Нобиле. Коротковолновая станция работает от 12 до 2 ночи. В эти часы Плевако самый важный человек у нас на судне. За ним все ухаживают, ему подвигают сахар, наливают чай, подносят спички как только он успел вставить в рот папиросу.

Через пятнадцать минут все на судне замрет. В кают-компании мы будем ходить на цыпочках, потому что, если Плевако не расслышит московского сообщения, связь может вдруг прерваться, и мы не будем знать, куда нам идти, что делать, что делается с «Красиным». В кают-компании разговоры затихают, как только над нашими головами начинает гудеть плевакин мотор. Настороженное молчание изредка прерывается шопотом:

— Посылает повестку. Ого! Слов триста, не меньше, принял!

— Да нет, ничего подобного, просто переспрашивает, не разобрал.

Один за другим выползают из своих кают участники экспедиции, которые из-за усталости проспали торжественный час. Они потягиваются, протирают глаза, кивают головой кверху и спрашивают:

— Ну, что, пошло?

И всякий знает, о чем они говорят. К двум часам утра, а иногда и раньше, если связь вдруг обрывается, Плевако спускается вниз с журналом подмышкой. Мы все расступаемся и даем ему дорогу, затаив дыхание и заглядывая друг другу через плечо. Если сообщение из Москвы ожидается очень важное, то в такие минуты в кают-компании собираются все штурманы, старшие механики, и даже, кряхтя и охая, взбирается по трапу сам капитан Чертков.

Визе внимательно прочитывает телеграммы, не спеша, обычно не меньше двух раз, потом он поворачивается к нам и начинает рассказывать:

— Так вот в чем дело, товарищи...

\* \* \*

У острова Надежды, с именем которого у нас всех связано так много самых разнообразных воспоминаний, короткие волны замолчали наглухо. Напрасно в полночь мы собирались в кают-компанию и затаив дыхание прислушивались к шуму мотора. В два часа утра весь мокрый и растрепанный, как мышь, целую ночь тонувшая в помойном ведре, спускается со спардека Плевако. Он без журнала, журнал ни к чему. Москва не отве-



тила. Сонный, как тень, ходит и Кожевников. Он уже три дня не разговаривает с Новой Землей и не слышит Кубы. Коротких волн как будто бы не существует. Длинные волны приходят обрывками. «Красин», «Браганца» и «Читта ди Милано» сообщают, что они уже три дня не слышат Нобиле. Рисер Ларсен летал шесть часов, и его коротковолновая установка беспрерывно вызывала всех нас, но мы его не слышали точно так же, как и он не слышал нас.

Наши радисты собрались в кучу и обсуждали создавшееся положение, пересыпая разговор столь бесконечным количеством технических слов и выражений, что чувствуешь себя как на популярной лекции в Политехническом музее, но понять, тем не менее, ничего нельзя.

Речь идет о магнитной буре. Что это такое—в точности я не знаю; во всяком случае, это явление, повидимому, в природе существует, и от него молчат короткие волны. Проф. Визе, наоборот, склоняется к мнению, что молчание коротких волн вызвано не явлениями в эфире, а влиянием острова Надежды и окружающих рифов. Эти неисследованные места—постоянный очаг магнитных аномалий,—вероятно, парализуют все наши усилия. Так или иначе, спор остается неразрешенным. На безмолвствующих коротких волнах, как на ниточке, висит жизнь 60 малыгинцев. Спор нужно разрешить.

Мы собрались в поход вдвоем, в туманную ночь, светлую, как день. Вдали, время от времени, когда позволял туман, мелькали головокружительные вершины острова Надежды. Лед был совершенно спокоен, жутким спокойствием самых сильных дрейфов. Я не помню бы-

строты нашего движения, но в эти дни таскало нас кругом Надежды, как в карусели.

Радист Плевако, журналист Островский и я спустились на лед, провожаемые всей командой. На снегу, у трапа, артельщик смазывал салом лыжи и пробовал прочность саней. На сани мы положили двухпудовый чемодан—походную радиоустановку. Потом надели винтовки и пошли не попрощавшись ни с кем. У нас в таких случаях не принято было прощаться, а то это приходилось делать несколько раз в день.

Островский шел сзади. Он первый раз в жизни, по собственному признанию, встал на лыжи. Когда мы спустя сутки в кают-компании вспоминали детали этой разведки, штурманы опровергали Островского и доказывали, что он лег на лыжи, а не встал. Так часто он падал.

Мы не успели отойти и мили, как «Малыгин» исчез совершенно. Справа раздался, все приближаясь и приближаясь, нарастающий гул: где-то ломало лед. Две винтовки мы бросили сразу. Слишком тяжело было итти. Когда Плевако первый раз провалился по плечи в снег, мы сняли чемодан с саней, а сани бросили, чемодан же несли поочередно на плечах.

Такой туман полярные моряки называют «мга». Он густой, как молоко. Если итти держась за руки, то все равно не видишь своего соседа.

Потом Плевако вдруг выругался и вообще исчез совершенно. Вслед за ним провалился куда-то в преисподнюю и Островский. Я слышал где-то, впереди себя, только тяжелое дыхание двух людей, которые с чем-то

или с кем-то борются, и всплеск воды. Когда спереди раздался хриплый голос Плевако: «Держи чемодан», — я снял винтовку и пополз вперед на животе.

Плевако и Островский барахтались в воде между треснувшими льдинами. Сверху их засыпало снегом. С колоссальным трудом они удерживали тяжелый чемодан на краю разводья. Прежде, чем помочь им вылезти, я два раза провалился в воду сам. Когда мы, наконец, отпихнув чемодан на крепкий лед, выбрались на поверхность, мы стали считать свои потери. Под лед ушла половина продуктов — недельного запаса, все патроны и одна шуба. Тогда Островский снял сапоги и закурил папиросу.

Нансен уверяет, что белье на сильном морозе сохнет быстрее, чем в жаркую погоду. Для этого, прежде всего, нужно яркое полярное солнце и не меньше 30 градусов ниже нуля. Островский поверил Нансену, но, вместо солнца, был туман и было тепло. Носки и портянки Островского обледенели моментально, но сохнуть не захотели нипочем.

Пока мы сушили Плевакины вещи, он устанавливал радио. В винтовке осталось всего три патрона, и поэтому мы ее разжаловали в антенну. Между двумя гигантскими торосами мы вырыли в снегу глубокую нору и в ней устроили свой штаб. Компас уцелел, и наше направление было нам приблизительно известно. Вся надежда теперь была на радио.

Когда Плевако, лежа на животе и судорожно прислушиваясь к звукам в эфире, уловил первые слабые вызовы «Малыгина», между нашей станцией и винтовкой, служив-



шей мачтой для антенны, неожиданно возник медведь. Гидрограф Лавров впоследствии нам раз'яснил, что в тумане предметы кажутся гораздо больше, чем они есть, да и потом у страха глаза велики. Во всяком случае этот медведь показался нам величиной с доброго слона.

Мы бродили во льду уже около шести часов, задачи разведки как будто бы приходили к концу, радиосвязь начинала налаживаться. Кругом тянулись на много миль ледяные пустынные поля, не было свидетелей, которые могли бы над нами посмеяться. Да и к тому же мы сами были слишком голодны для того, чтоб добровольно кормить собою какого-то неизвестного нам медведя, первого встречного.

Поэтому мы немедленно бросились врассыпную, оставив станцию, винтовку, путь к которой нам преграждал медведь, остатки продуктов, теплые вещи, обледеневшие портянки Островского и все остальное.

Островский бежал впереди всех на лыжах, прямой, как стрела. Он не упал ни разу, и впервые здесь мы столкнулись с замечательным явлением, что медведь может научить человека ходить на лыжах. Когда через три минуты мы разыскали друг друга между торосами, положение показалось нам довольно юмористическим. Единственным оружием в нашем распоряжении был бинокль комиссара экспедиции Стрелкова, который, давая его нам, предупредил, что спустит шкуру с того, кто его потеряет. Стрелков был от нас за несколько миль. Медведь был рядом. И потому мы решили все-таки попробовать убить медведя биноклем. У Плевако еще был довольно солидный перочинный нож, но, к несчастью,

Он остался в нашей норе, в полном распоряжении медведя.

У Амундсена где-то сказано, что медведи боятся огня и крика. Поэтому мы перешли в контр-атаку. Впереди шел Островский, размахивая биноклем, как кистенем. Я бежал за ним, зажигая спички и щелкая ими в направлении медведя. Плевако, вооруженный лыжами, составлял наш резерв. Все вместе мы кричали до хрипоты. Думаю, что для нормального человека наш вид был настолько дик, что, во всяком случае, можно было испугаться. Так или иначе, медведь отступил беспрекословно, лишь слегка разворотив наше имущество и не добравшись даже до радиоприемника. Он пятился задом, ломая торос, потом раз стал на задние лапы и посмотрел на нас с недоверием—стоило ли, мол, пугаться, потом пустился бежать вприпрыжку и исчез в тумане.

Вид отступающего врага всегда вызывает неожиданные взрывы героизма. Заплетающимися руками я завязал лыжи и разыскал в кармане три оставшихся патрона. Но когда я подходил к винтовке с тем, чтобы начать преследование нашего врага, Плевако сказал мне строго:

— Забудь, что это винтовка, это—антенна. Как же мы будем без связи?

Тогда мы сели ужинать. На гребне тороса верхом поместился Островский. Мы дали ему бинокль и велели наблюдать за врагом. Куски консервированного мяса мы подавали ему снизу на палочке. Жуя огромный сухарь, Плевако разговаривал с «Малыгиным», и дивной музыкой казались для нас еле слышные звуки «Морзе».

Вахтенный штурман давал нам тысячу разнообразных советов о том, как не заблудиться во льдах и легче всего разыскать «Малыгина». Проф. Визе выражал некоторое беспокойство в связи с нашим долгим отсутствием. Бабушкин интересовался состоянием льдов и наличием площадок. Мы досыта наговорились в течение часа и пошли обратно по своим следам. На полпути, когда мы нашли брошенные нами сани, ходить уже никто не мог. Двухпудовый чемодан безжалостно ломал спину. Положить его на сани было невозможно. На под'емах тяжесть саней вытягивала из лыж, на спусках, чемодан нагонял сзади и сбивал с ног. Тогда мы все сели на снег и стали отдыхать. Бесконечная усталость подкралась как-то сразу, почти незаметно. Задача наша была выполнена, и, добившись связи с «Малыгиным», мы опровергли все варианты предположений, существовавших вокруг магнитной бури, и нашли решение, единственно правильное. Я до сих пор не знаю точно, в чем оно заключалось, но через три часа после того, как мы вернулись на судно, короткие волны заработали.

Когда нужно было встать со снега, оказалось, что никто из нас почти не может двигаться. Тогда мы сняли с себя все лишнее и вместе с лыжами и радио уложили все это на сани. Потом впряглись втроем и пошли, по пояс увязая в снегу.

Последние четыре километра мы шли больше четырех часов. Когда впереди нас темным сулуэтом среди торосов показался «Малыгин», откуда-то сбоку вынырнули две человеческих фигуры: писатель Яковлев и летчик Сергеев. Они вышли нас встречать.



Пока мы обменивались впечатлениями, Плевако упал на снег. Он находился в той степени крайней усталости, когда человеку уже совершенно все равно, что с ним будет. Когда мы подняли его, он даже не отряхнул с себя снег, налипший на лице и в волосах. Ему было безразлично.

Снявши с себя кожаное пальто, писатель Яковлев и летчик Сергеев впряглись в сани и, сдвинув их с места, медленно тронулись вперед.

Мы спотыкаясь пошли за ними. Плевако закурил последнюю папиросу и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Следующий раз нужно будет взять установку полегче. В этой два пуда и мы ее чуть не утопили. Вот скандал был бы!

---

## ВЫШЕ ЛЬДОВ

Бабушкин слишком велик для своего самолета: оба они как будто бы сделаны в разных масштабах. Когда летчик и аппарат стоят рядом, эта диспропорция с исключительной яркостью бросается в глаза. Даже борт-механик Грошев, который невелик ростом, когда он копошится на нашем «юнкерсе», кажется большим крабом, переползающим через маленькую раковину.

Грошев ухаживает за своим самолетом так, как в безлошадных деревнях крестьяне смотрят за единственным конем, только что купленным у цыган на базаре за последние запасы хлеба. Я думаю, что если бы у Грошева в таких обстоятельствах была своя лошадь, он все-таки не обращался бы с ней так любовно, как он обращается с «юнкерсом»,—это слишком утомительно.

В тяжелые штормовые дни, когда после многих часов непрерывной борьбы со смертью люди трупами лежат на койках, и им уже нипочем ни качка, ни новый надвигающийся шторм, Грошев выходит из своей каюты. Он давно не брит. Лицо его мертвенно бледное,—малыгинский режим отражается даже и на самых сильных из нас. Грошев выходит на палубу, потуже затягивает кожанку и, надев полярные очки, подбрасываемый от

фальшборта к стенкам рубки толчками судна, идет на корму к самолету.

Там для него очень много работы. Нужно проверить, насколько прочно держат веревки, не отогнуло ли ветром брезент, не дует ли мотору и мало ли что, наконец.

В такие моменты к Грошеву обыкновенно подходит вахтенный матрос. Он тоже очень устал и хочет спать, потому что вступил на вахту сейчас же после авраль-ной работы. Они оба долго прикуривают с подветренной стороны, соблюдая столь большое множество различных курительных этикетов, что им позавидовал бы любой дипломат. Моряки, особенно в плавании, вообще исключительно, демонстративно вежливые люди. Мне в этом неоднократно приходилось убеждаться на «Малыгине». Наконец, побеждают папиросы Грошева и спички вахтенного матроса, и оба начинают разговаривать об авиации.

Борт-механик рассказывает, а матрос слушает. И в моменты, когда излагается особенно сложная техническая деталь полета, вахтенный с большим знанием дела плюет через фальшборт и говорит:

— Вот это да, а то ведь мы, что ж, не живем, а плаваем!

Когда наш самолет и другие типы летательных машин разобраны по косточкам, Грошев еще раз обходит «юнкерс» кругом и осматривает его хозяйственным глазом. Потом возвращается и перед тем, как лечь спать, заходит в кают-компанию выпить стакан воды с клюквенным экстрактом. Уже через две недели после выхода в море у нас что-то случилось с кипятильником: туда проса-



чивается морская вода, и мы пьем соленый чай, соленый кофе, соленую воду. В чистом виде пользоваться ею для питья без клюквенного экстракта невозможно.

Если в кают-компании сидит начальник экспедиции проф. Визе, который тоже очень мало спит, Грошев, наливая себе из графина воду, говорит, ни к кому особенно не обращаясь:

— Ходил на корму. Ну, ничего, самолет стоит, все в исправности.

Потом борт-механик идет спать, не попрощавшись, с тем, чтобы снова проснуться через два часа.

Когда в Баренцовом море нас трепал шторм и громадные волны перекатывались через спардек, как бы издеваясь над попыткой людей одолеть водяную стихию, мы двое суток, почти бессменно, держали самолет руками, чтобы его не смыло волной. Эти дни были настолько полны самых разнообразных впечатлений от течи в подводной части и до чьей-то безлюдной шлюпки, брошенной в море потерпевшими крушение в море мореплавателями, что трудно восстановить в памяти все детали этой замечательной страницы из истории малыгинского плавания. Единственное, что я твердо помню, это, что Грошев не сменялся ни разу. Его кожанка стала белой от легших на нее слоев морской соли. Небритая щетина его также была покрыта белыми сверкающими кристаллами. Но крепко уцепившись пальцами за канат, борт-механик держал свой самолет. И настолько по-детски спокойно было выражение лица этого человека, который совершал не первый, вероятно, подвиг

в своей жизни, что как-то неловко было смениться и уйти в теплую кают-компанию.



В самолете Бабушкина я больше всего ненавижу фюзеляж. Талантливый конструктор Юнкерс, автор не одного десятка самых разнообразных типов летательных машин, вероятно, никогда не думал, что одно из его творений—«Ю—13»—сумасшедшие люди на семьдесят девятой параллели будут таскать на плечах с палубы на лед. Поэтому весь остов самолета в разобранном виде покрыт выступами, болтами и закорючками, которые больно врезаются в тело. Если фюзеляж нести прямо на плечах, а несет его человек десять-пятнадцать, то от одного такого спуска по мосткам на теле образуются синяки. Если самолет грузится и разгружается несколько раз в день, то эти синяки превращаются в язвы. Если же держать фюзеляж руками, то через минуту из-под ногтей выступает кровь. В общем, все это очень сложно.

Когда нужно выгрузить самолет, мы настилаем мостки и тащим отдельные части «юнкерса» на руках. Впереди всех идет Бабушкин, он очень высок и из-за этого задняя часть фюзеляжа опускается книзу, и тем, которые идут сзади, приходится ползти по мосткам, поддерживая хвост на спине. Это очень больно.

У Бабушкина уже немолодое лицо,—вероятно, так старит воздух,—но глаза у него совсем молодые; с такими глазами не страшно летать куда угодно.

Бабушкин идет впереди. Передний конец фюзеляжа у него на плече, одна рука свободна. Этой рукой он

ритмично помахивает в воздухе и время-от-времени кричит:

— Эх, раз, взяли! эх, два, взяли!

И мы берем.

В эти минуты я вспоминаю о древних викингх, которые, говорят, первые открыли не только Шпицберген, но и Америку. Вероятно, их техника в полярных льдах была так же примитивна, как и наша.

Кроме фюзеляжа, у нашего самолета есть еще плоскости — крылья, которые летчики называют «плоскостями». Вероятно, по-летному так правильно. Я тоже теперь говорю «плоскостя». Крылья нести на лед и грузить обратно на судно значительно легче. Но в них скрыта маленькая неприятность — поворотные рули. Если палец попадет между рулем и остовом крыла, он потом десять дней бывает совершенно синий. Больше всего я люблю сгружать стабилизатор, руль глубины; его может нести один человек, и тем не менее эта работа является чрезвычайно ответственной. Малейший изгиб в стабилизаторе может лишить самолет способности маневрировать в воздухе.

Потом есть еще лыжи. Их можно просто скатывать вниз по мосткам. Об этих лыжах мне известно лишь то, что если бы они были у всех иностранных самолетов, спасающих Нобиле, и летчики умели бы ими пользоваться, то они давно уже могли бы снизиться возле самой палатки генерала. Таких лыж у нас всего одна пара, и носимся мы с ними, как с малыми детьми. В общем «Ю — 13» производит довольно жалкое



впечатление. Когда его первый раз для пробного полета собрали на льду, наш боцман подошел к самолету, потрогал его руками и сказал Бабушкину с явным недоверием:

— И на этой штуке ты полетишь? Ведь она ж ни чорта не стоит. Дунуть—и нет ничего!

Я летал с Бабушкиным на этом самом аппарате несколько раз и убедился в том, что маленькая дур-алюминиевая птичка стоит все-таки очень многого. Но внешний вид ее, особенно, когда она разобрана и ее несут на плечах вниз по мосткам, никак не внушает доверия.

Если крепко взяться обеими руками за специальную ручку у края одного из крыльев и сильно дернуть вниз, весь самолет закачается, даже если он полностью нагружен бензином, даже если в нем сидит три человека. Как я узнал потом, именно благодаря этому свойству самолет может отрываться от льда.

В этих широтах лед покрыт снежным покровом. Как только самолет садится, лыжи проваливаются в снег и чуть-чуть примерзают. Для того, чтобы дать возможность самолету развить хотя бы ту скорость, которая необходима для глиссирования, нужно взяться за крыло и качать его до тех пор, пока противоположная лыжа не поднимется над уровнем снежного покрова. Невероятно, но факт.

Когда подъем в воздухе совершается от нашей базы, это еще полбеды. Нас обычно провожает не менее половины населения «Малыгина», и всякий готов нам помочь сняться с земли.

Но если дело происходит во льдах, в тумане, в нескольких стах километров от базы—чорт его знает, где оно происходит, это дело, раз мы сами не можем определить, где мы находимся,—то оно обстоит значительно сложнее.

Впереди у мотора сидят пилот и борт-механик. В кабине—радист, он же аэронавигатор, он же—пассажир, он же—наблюдатель. Для того, чтобы оторваться от земли, этот третий человек должен раскачать самолет и успеть сесть на ходу, пока Бабушкин не разовьет скорости, недоступной для человеческого бега.

Для московского человека, который отвык на ходу вскакивать даже в трамвай, это—далеко не легкая задача. Впрочем, Бабушкин дружески меня предупреждал: «Если не успеешь вскочить, сейчас же падай на землю. Помни, что сзади тебя идет стабилизатор, и по твоему росту, ну, как тебе сказать точно, придется прямо по затылку. А ты знаешь, что я буду делать без стабилизатора! Так и будем сидеть на льду, как дураки». Совет Бабушкина я исполнил с благоговейной точностью. Когда самолет тронулся по льду, я решил перехитрить законы физики и не выпустил крыла из рук, а обогнул его кругом, стараясь не отставать от самолета. В этот момент «юнкерс» подскочил на ледяной кочке, и я, зажмутив глаза, ослепленный струей воздуха от пропеллера и брызгами снега, вполз в кабину на животе. В окошко скалил зубы смеющийся Бабушкин. Для него, вероятно, было непонятно, как это можно таким странным образом влезть в кабину. После полета он долго мне объяснял, что на плоскости есть ступеньки,

и что вообще все это дело очень несложно. Не знаю, может быть.

А как-то раз был и такой случай. Третьим человеком на самолете был судовой радист Фоминых. Он тоже раскачал самолет и тоже хотел перехитрить законы физики. Но лед треснул под «юнкерсом» и Фоминых провалился в воду. Бабушкин во-время заметил отсутствие третьего пассажира и закрыл газ, еще не развив полной скорости на льду. Фоминых выкарабкался на поверхность, повторил свой опыт, и через три часа вместе с пилотом и борт-механиком возвратился к нам. Это было в двухстах километрах от «Малыгина».

Радист вылез из кабинки, и вся одежда на нем обледенела. Когда мы спросили его, как он себя чувствовал в первом полете, Фоминых пробормотал сквозь зубы: — Будь он проклят!

Но в следующий раз он попросился летать опять.

\* \* \*

А один раз мы летали без Грошева. Это была проба нового мотора. Правее Бабушкина у параллельного управления сидел морской летчик Сергеев. Борт-механик Грошев до последней минуты не оставлял нас. Он бегал кругом самолета с чрезвычайно озабоченным видом, подкручивал какие-то гайки и стучал ключом по боку. Потом он вылез на крыло и минут пятнадцать копался в моторе; весь его вид показывал, что летать без него—безумие. Я не знаю, чего в нем было больше: опасения за нашу целостность или за целостность самолета. Во всяком случае я еще раз вспомнил однолошадного крестьянина и по-



думал, что приблизительно так же выглядел бы и он, одалживая своего коня соседу.

Грошев завел винт собственными руками. Этого дела он, вероятно, не доверил бы никому, даже если бы в него стреляли из пушки. Потом он еще раз влез на крыло, заглянул в машину, проверил количество оборотов. Когда я в последний раз увидел льды вблизи из окна кабинки, Грошев собственноручно раскачивал крыло самолета, чтобы помочь нам оторваться от земли. Он что-то кричал Бабушкину с нахмуренным лицом—приветствие, совет ли, кто знает,—и я особенно ярко почувствовал, как много близкого и родного может быть у человека с определенной машиной, которая поручена его заботам.

Бабушкин несколько раз рванул аппарат на себя. Лыжи никак не могли оторваться от снежного покрова. Мы поднялись на метр, провалились, запрыгали по кочкам, снова поднялись и снова провалились и, наконец, полетели, забирая высоту. Момент окончательного отрыва от поверхности льда был совершенно нечувствителен. Ничего подобного нельзя испытать, летая на колесах, на поплавках или даже на лодке. В тот момент, когда я окончательно сообразил, что мы летим в воздухе, Бабушкин описывал круг, и «Малыгин» явился мне, как чуть-чуть обкуренная сигара, раздавленная пьяным каблуком на залитой солнцем уличной панели. Все остальное кругом было ослепительно белое. Мы летели приблизительно на высоте километра. Видимость была настолько исключительная, что мне померещились, быть может, увенчанные шапкой туманов вершины острова

короля Карла. Из мотора шел едва заметный дымок. Это было единственное пятно на ослепительно ярком фоне льдов и неба.

Внизу, по льду, за нами бежала наша тень. Мы летели очень высоко, и простым глазом ее увидеть было невозможно, но в бинокль эта фантастическая тень скользила по снегу во всей своей сказочной красоте. Ничего подобного я не видел никогда в жизни, и думаю, что не видел никто, кто не летал над льдами. Отсутствие каких-либо видимых предметов на земле, полный, абсолютный простор, такие необъятные пространства, когда ослепительно яркая земля переходит почти незаметно в ослепительно яркий горизонт—этих вещей нельзя описать человеческими словами.

Десятки минут казались секундами. Бабушкин шел на снижение. Сначала я увидел густую черную полосу дыма, затем явился «Малыгин». С севера надвигался туман, и кочегары старались изо всех сил,—боялись, что мы своевременно не заметим судна.

Самолет сел на лед так нежно, что в кабине не покачнулся даже мой бинокль, висящий на стене. Навстречу нам, проваливаясь в снежных сугробах, бежал борт-механик Грошев. Он первым влез на плоскость, открыл капот и начал возиться с мотором.

Когда мы поднимались по трапу на судно, я постороился и уступил дорогу этому замечательному человеку. Но Грошев меня не заметил. Вертя в руках какой-то ключ, он плевал на него, дул, вытирал рукавом и снова дул. Он был занят.

---

## СВАЛЬБАРД

Льды бывают синие, зеленые, фиолетовые и бурые: каждый из этих цветов имеет множество оттенков, но все по-своему хороши. Я думал раньше, что во льдах отражается небо, вода, быть может. Но впоследствии я убедился, что цвет льдов в определенном районе есть нечто совершенно самостоятельное. Вот, например, молодые торосы весеннего сжатия одинаково нежно-бирюзовы как в ясную погоду, так и в туман, в шторм. Для меня цвет льдов—это только эстетика, но помощник начальника экспедиции гидрограф Лавров умеет по малейшему оттенку узнать всю историю каждой льдинки. До сих пор мне никогда не приходило в голову, что такая скучная материя, как гидрография, настолько тесно связана с необходимостью разбираться в красотах природы.

Лед сохраняет цвет воды в тот момент, когда она замерзает. Воду окрашивают различные водоросли. Если цвет воды в разводьях отличается от цвета льда, то значит—этот лед принесен откуда-то издалека. Мне-то это, собственно, безразлично, но вот Лавров по этим признакам изучает различные течения, омывающие Шпиц-



берген. И все название этих окрашивающих лед водорослей он может перечислить наизусть.

Самое сильное впечатление в окраске льдов производит, конечно, ультрамарин разных оттенков. Когда под напором ветра льды сжимаются, их крошит и ломает. На месте трещин вырастают иногда сплошными рядами, иногда отдельными выступами ледяные торосы. В ближайшие дни они покрываются тонким слоем снега. Этот снег не тает почему-то даже тогда, когда тает лед. Если осторожно разгрести руками снежный покров и заглянуть в глубину тороса, то оказывается, что лед излучает свой собственный свет. Свет этот настолько особенный, что, вероятно, нигде больше на земле нельзя его увидеть. В фантазии древних германцев, вероятно, так выглядела священная чаша Грааля.

Мы плавали во льдах больше месяца. Больше месяца у нас не было другого горизонта, кроме ослепительно яркого простора ледяных полей. Если бы не бесконечно яркий свет, можно было бы подумать, что едешь зимой на санях через степи Екатеринославской губернии. Лед был настолько прочен, что иногда терялось ощущение присутствия воды и казалось, что мы движемся по суше.

Чем красивее льды, тем коварнее они для нашего самолета. Летом снежный покров подтаивает, под этими проталинами накапливается вода, сверху образуется тонкий слой льда, который засыпается снегом. Это—могила для лыж самолета. Человек провалится и выберется на сушу, но сломанные лыжи в такой обстановке не может починить никто. Это—конец.

Изредка во льдах попадают большие кроваво-бурые пятна. Как это ни странно, это—след от медвежьего пиршества. Когда я выезжал из Москвы, я мечтал о том, чтобы увидеть хотя бы одного живого белого медведя. Через десять дней после того, как мы вошли во льды, мы вовсе перестали медведями интересоваться. Их было так много, как приблизительно собак в Москве.

Когда медведь увидит тюленя, он долго ползет к нему на брюхе с подветренной стороны для того, чтобы тюлень его не учуял. Потом он бьет его лапой по голове, и этого достаточно. Это гораздо вернее, чем пуля трехлинейной винтовки. Я видел множество тюленей, которые небрежно уходили под лед, раненные пулями наших охотников.

Общее впечатление от льдов—сплошной ослепительный свет. Если ближе присмотреться к ледяному покрову, то, кроме различных оттенков цвета, можно различить еще и отдельные пятна—следы животной жизни. Я вернулся от льдов, конечно, профаном. Но с нами были люди, которые по этим цветам умели не только предсказывать погоду, но и опровергать научные теории, установленные десятилетиями.



Многолетние льды мы увидели впервые юго-восточнее Шпицбергена. Дни за днями проходили в бесплодных поисках Амундсена. Романтика Арктики, конечно, увлекает. Но не только ради этой романтики шестьдесят малыгинцев жертвовали своей жизнью для спасения отважного исследователя Северного полюса. Кажется, ни

одно сообщение за все время плавания не потрясло нас так сильно, как известие об исчезновении Амундсена.

Наши ученые строили бесконечное количество гипотез. Изю дня в день Москва напоминала нам, что мы находимся ближе всех к месту предполагаемой катастрофы. Свободное от вахты время матросы собирались в кубрике и слушали рассказы об Амундсене.

Мы плавали там, где плавать нельзя. Бабушкин издевался над законами авиации. Его самолет снимался с таких аэродромов, которые могут служить только могилами для летательных машин. Со сломанными лыжами, с израненным насмерть «юнкерсом», Бабушкин творил невозможное: но Амундсена найти нам все же не удалось.

Не знаю, почему это славное имя связывается у меня в памяти с представлением о многолетних льдах. Быть может, потому, что в тот день, когда мы их впервые увидели, морской летчик Сергеев с сердцем бросил окуроч в кипящую от льдов воду и пробормотал сквозь зубы:

— Здесь летать на поплавках нельзя!

В течение трех недель мы шли вдоль восточного берега Шпицбергена, вдоль того самого берега, у которого плавать нельзя. Нам встречались по пути обломки этого сказочного арктического архипелага. «Малыгин» нырял между рифами, как морской дельфин. Карт не было, карты лгали, потому что все сведения об этих местах основаны на догадках и предположениях. Догадки же и предположения ничего не стоят, когда шестьдесят человек на ледокольном пароходе неожиданно садятся на подводную скалу. В ясные дни, когда на



ослепительно ярком горизонте мелькают миражи, когда вахтенному начальнику мерещатся несуществующие острова, и он суетливо пытается сверить плод оптического обмана с юбманчивой картой,—мы долгими часами искали Шпицберген. Но его не было видно!

В тот день, когда летчик Сергеев бросил в воду окурок, мы входили в Стор-фиорд. Навстречу жутко, медленно двигался битый лед, и все кругом было покрыто молочно белым туманом. Гидрограф Лавров глубоко втянул в себя воздух и, оглядевшись кругом, сказал довольно печально:

— Льды многолетние. Началось таяние. Поплавкам—капут.

Таких льдов я до этих пор еще не видел. Грязновато-серые, запачканные землей, обнажающие в трещинах следы последовательных весенних таяний, льды шли на нас, и им не было конца. Когда туман чуть-чуть отдернулся, мы увидели Шпицберген.

Если плаваешь в Ледовитом океане, нужно быть готовым ко всяким случайностям. До того, как далекие друзья с полярных радиостанций дадут так мучительно ожидаемые радиопелинги, капитан никогда не знает точно, где находится его судно. Шпицберген явился нам так страшно близко, что вахтенный начальник еще долгие минуты был убежден, что он стал жертвой оптического обмана.

Вход в Стор-фиорд забаррикадирован густой цепью подводных скал. Счастливая случайность спасла нас от близкого знакомства с ними. Было время прилива, того самого прилива, который так часто арктическим море-

плователям приносит спасение от неминуемой гибели. Ветра не было. Не было и зыби. Густым слоем полз на нас из шпицбергеновской пасти многолетний лед, и налево жуткой громадой возвышался Соуткап, место, которое моряки всех стран прозвали мысом «Берегись».

И еще раз мне пришлось убедиться, как обманчивы льды. Мы уже знали страшный ледовый шторм острова Надежды, мы знали смертный дрейф ледяных полей, который выше острова Короля Карла тащил нас к северу втрое быстрее, чем к югу могли нас продвинуть машины «Малыгина»,—но этот бесконечный многолетний лед, спокойно идущий на нас бесконечной лавиной, как оказалось, был страшнее всех прежних страхов.

Когда, наконец, бросили лаг, прибор, определяющий быстроту движения, вахтенный матрос издал удивленное восклицание. Многолетние льды, волею природы начавшие таять, разбитые и раскрошенные где-то там, на севере Стор-фиорда, несли нас с ужасающей быстротой в шестнадцать километров в час. Цифра была бесспорной, льды, грязновато-бурые, были все-таки по-своему красивы. Их медленное движение, как оно видно было глазом, не сулило никакой опасности, и тут только впервые мы поняли, почему полярные матросы по-настоящему начинают улыбаться в плавании только тогда, когда они выходят из льдов.

Капитан Чертков, стоял на мостике, скрестив руки на груди. Замечательный жест у этого отважного человека, специальность которого заключается в том, чтобы побеждать стихию. Туман отдернуло совсем и мы увидели оба берега Шпицбергена.

Правительство Норвегии на всей территории Шпицбергена в течение пяти лет запретило охоту на оленя. Когда Чухновский сел возле мыса Платена на лед, отважному экипажу его самолета нужно было продержаться не менее двух недель. Летчик Чухновский убил белого медведя и оленя точно так же, как на фронте он убил бы врага. Прячась за ледяными торосами и подкрадываясь к зверю, он выслеживал голодную смерть.

Милый, скромный Борис Григорьевич, замечательный человек, который с неподражаемой незаметностью умеет носить свое великолепное имя. Вероятно, он недостаточно знаком был с норвежскими законами; в противном случае он, должно быть, никогда не позволил бы себе их нарушить.

Норвежское правительство запретило охоту на оленя и уничтожило, стерло с карты Арктики название Шпицберген, заменив его древним именем Свальбарда. Это имя не раз служило лозунгом отважным викингам. На Свальбарде нет травы, там не растут деревья. Разветвления Гольфштрема приносят к этим скалистым берегам обломки разбитых кораблей, лес с раскнутых волной плотов сибирских рек, обломки строительства культурных стран. По этому дереву, лежащему на тех берегах, где деревья не растут, гидрограф Лавров точно так же, как по цвету льдов, умеет строить свою науку.

Нам не пришлось побывать в солнечном Кингсбее и увидеть знаменитый ледник, к которому приезжают умирать раздавленные склерозом американские миллиар-



деры. Там, на западных берегах Свальбарда, согреваемая теплым течением Гольфштрема, на 76 параллели творится культурная жизнь. Тысяча рабочих, самые северные шахтеры в мире, добывают из свальбардских недр каменный уголь. Там есть санаторий, настоящие человеческие дома, электричество и радио.

Мы увидели другой Свальбард—остров льдов и туманов. В Стор-фиорде нет действующих угольных шахт, там нет человеческого жилья, там не могут жить люди, потому что сюда на судне можно попасть только тогда, когда тают льды. И эти тающие льды неминуемо несут судно на рифы.

Вместо цветущего промышленного городка, мы увидели голые скалы, увенчанные ледниками и ослепительными снежными вершинами. Человек-завоеватель оставил здесь только следы многих своих героев. В английской лоции сказано, что западный берег Стор-фиорда усеян русскими угольными заявками и крестами на могилах русских поморов. Этих крестов, однако, нам увидеть не удалось, потому что в тот момент, когда мы вошли в Стор-фиорд, вахтенные матросы готовили спасательные шлюпки.

Потом туман лег тяжелой белой пеленой, и с капитанского мостика казалось, что кто-то откусил у «Малыгина» и корму, и нос.

Больше Свальбарда мы не видали. Командир судна Чертков скрестил руки ровно на сутки. Потом льды нас выпустили.

---



# и БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

## ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ в СССР ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ



С ПРИЛОЖЕНИЕМ  
Библиотеки „ОГОНЕК“  
(по 2 книжки в неделю)

1. Библиотека „Огонек“ — САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ из маленьких библиотек, издающихся в СССР.
2. Библиотека „Огонек“ — благодаря своей цене доступна РАБОЧЕМУ, КРЕСТЬЯНИНУ и УЧАЩЕМУСЯ.
3. Библиотекой „Огонек“ изданы книжки ВСЕХ ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.
4. Библиотекой „Огонек“ изданы книжки наиболее близких СССР по духу и ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ в ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ СОВРЕМЕННОК ЗАПАДА.
5. Библиотекой „Огонек“ издаются в сокращенных переводах МИРОВЫЕ КЛАССИКИ, начиная с Гомера.
6. Библиотекой „Огонек“ издаются всевозможные ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, неизданные и вновь найденные произведения, документы, мемуары.
7. Библиотекой „Огонек“ издаются ПУТЕШЕСТВИЯ современных советских и иностранных писателей.
8. Библиотекой „Огонек“ издаются книжки НАЧИНАЮЩИХ советских писателей.
9. Библиотекой „Огонек“ издана серия ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ лучших советских и иностранных писателей.
10. Библиотекой „Огонек“ ИЗДАНО 9 МИЛЛИОНОВ КНИЖЕК, и тираж беспрерывно растет.

### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

- „Огонек“ с Библиотекой „Огонек“: с 1-го июля до конца года (6 мес.) — 7 р.; 3 мес. — 3 р. 75 к.; 1 мес. — 1 р. 40 к.  
„Огонек“ без Библиотеки „Огонек“: с 1-го июля до конца года (6 мес.) — 2 р. 40 к.; 3 мес. — 1 р. 20 к.; 1 мес. — 40 к.

Переводы адресовать: Акц. Изд. О-ву „ОГОНЕК“

Москва 6, Страстной бульвар 11.

Подписка также принимается повсеместно на почте, письмоносцами у контрагентов, в отделениях „Правды“ и „Известий ЦИК“ и во всех железнодорожных и городских киосках Контрагентства Печати.

Цена 35 коп.

35787

49

479  
403

## ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Принимается только вместе с журналом „ОГОНЕК“.

Еженедельный иллюстрированный журнал „ОГОНЕК“, с приложением ДВУХ книжек Библиотеки „ОГОНЕК“ еженедельно к каждому номеру.

1 мес.—1 р. 40 к., 3 мес.—3 р. 75 к.

6 мес.—7 р., 1 год—13 р. 50 к.

А Д Р Е С:

Москва 6, Страстной бульвар, д. 11, телефон 5-51-69.

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“.